

ДОМ, ТОЧНО ТЕРЕМ РАСПИСНОЙ...

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ «ХРАМ НА БОГОНЕ»



АЛЕКСАНДР ПОПОВ
Родился во Владимирской области. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. Служил в Советской армии. Работал корреспондентом «Московского номсомольца», «Номсомольской правды», «Огонька», замести-

телем главного редактора историко-публицистического журнала «Родина», шеф-редактором журнала «Союзное государство», заместителем генерального директора «Литературной газеты», главным редактором интернет-изданий. Пишет прозу. Автор повестей

«Одиннадцатая заповедь», «Взрыв», романа «Поселение». Публиковался в журналах «Наш современник», «Роман-газета». Повести и роман выходили отдельными книгами. Лауреат премии журналов «Огонек», «Наш современник».

Старый, летом в горьких тенях черемух и прохладной чистоте шелковых трав, зимой с обточенными выюгами до овального совершенства снежными террасами, овраг в эти времена года был красив и полезен. Летом давал много первосортного, особо ценимого в деревне сена, воду для полива огородов из топкого бочажка, который ежегодно углубляли и расширяли лопатами те, кто жили поближе. Из него же с тихим усердием пробивал дорогу к речке по дну оврага ручеек с ноготок. В нем любили купаться и забирать грязь для своих воздушных, лепких мазанок под крышами изб ласточки. Зимой седловина оврага, как цветочная ваза, пестрела и волновалась детворой. Здесь устраивались ватажные, шумно-суетливые катания на санках.

Весной и осенью овраг, разрезавший деревню ровно пополам, становился сущим наказанием для жителей.

В начале апреля его верховья, уходящие на задворках в заболоченные луга, начинали исподволь наливать тяжелой, холодной энергией тающего снега. Ее ледяное кипение быстро плавило снег, образуя темно-вишневое, настоящее на прошлогодних травах озеро. Вода в озере на глазах прибывала и поднималась, и, набрав силы, выбрасывалась на слежавшийся наст в овраге, пробивала его своей жестоковыйной, таранной силой и с шипением неслась липкой, рыхлой шугой вниз по оврагу к мосту

у самой реки. Забив мостовую горловину снежной кашей, поток перебрасывался через деревянный настил, несколько дней хлестал через край, рыл промоины у моста, которые к концу паводка становились непроезжими и непроходимыми. В памяти остался застрявший во рву перед мостом с задраным к небу тупым передком «Фордзон-Путиловец» (по штампованным литерам «ФП» на радиаторе трактористы звали его «Федор Петрович»), зарывшийся в грязь до рычагов, долго и цепко (на задних колесах у него были металлические шипы), железным упертым кротом, до последней капли керосина в баке, безуспешно пытавшийся пробиться из ямы. Его выдергивали потом и тащили заляпанным грязью, полумертвым, болотным чудищем на тросах в мастерскую двумя дизелями.

Дело кончалось тем, что овраг, как гиблое место, начинали объезжать верхней дорогой по лугам за деревней.

Осенью, в период дождей, картина повторялась.

И тогда у моста появлялся Григорий Александрович Долгушин. С топориком и лопатой в руках, высокий, сухопарый старик, в картузе из какой-то другой жизни, какие уже никто не носил, с чаленькой, седенькой бородкой. Что-то распеваящий вполголоса, начинал рыть канавки, спуская грязную жижу из ям, валить топором ольшаник у речки. Толстые стволы ольхи рубил на короткие сляги, из

сучьев делал фашины, перевязывая их гибко-по-слушными ивовыми прутьями. Затем все это перетаскивалось к мосту, укладывалось в промоины и колеи. Слой слег, слой фашины, пересыпанные песком и галькой из речных вымоин. Песок и гальку носил ведрами снизу от реки по крутой тропинке. Нелегкий, скажем так, труд. С учетом того, что было работнику тогда уже прилично за шестьдесят. В таком возрасте редкий русский еще в силе, без болезней, «калечий и увечий», как говаривала моя мать, склонная к фигурам речи, по-народному избретательским и рифмованным.

А Долгушин-дед, так его звали дети в деревне, продолжал еще долго возиться у моста. Заровняв ямы, сооружал (до очередного паводка) из бросовых горбылей, которые опять же перетаскивал на себе от пилорамы километра за полтора, пешеходный мостик через ручей, выкладывал от него камнями-голышами дорожку по низине до сухой тропинки вдоль деревни. Я недавно был на родине, долгушинский тротуар еще нащупывается ногой, проглядывает реликтивно съжившейся, серой спиной сквозь жесткую проволоку одичавшей без человека травы.

Жил Долгушин-дед через двор от оврага на горке в самом заметном доме в деревне. На метровом каменном фундаменте, с теплым прирубом –летней половиной, дом был высок, строен, просторен. Но не этим он разительно выделялся из длинного, почти километрового ряда деревенских изб. В деревне было достаточно богатых, с размахом и на совесть сработанных домов. Солдатовы, Сергеевы, Самолетниковы имели не хуже хоромы. Но на них не сворачивали шеи из окон машин проезжающие впервые по деревне. На долгушинский дом пялились, не скрывая восторга и удивления, как на редкое по красоте явление природы или как на архитектурный шедевр. Помню легковушку с музыкой из радиоприемника, с веселыми, молодыми лицами в кабине, пропылившую в сторону большого села Долгополье, но через какое-то время, словно что-то потеряв, быстро и вертко вернувшуюся задним ходом к дому Долгушина-деда. Я стоял в тот момент на лужайке между нашим домом и долгушинским – мы были соседями. Из машины, поставив на землю с редким женским изяществом плотно сомкнутые, оголенные ноги, вынырнула девушка в узких, коротких брючках чуть ниже колен, в диковинной рубашке с многочисленными кармашками и погончиками пустынно-песочного цвета, с болтающимся на шее фотоаппаратом.

– Мальчик, – дружелюбно заиграла она в мою сторону зелеными глазами, привычно отшелкивая

длинными пальчиками кнопки футляра на фотоаппарате, – ты в этом тереме живешь? – Мотнула узким подбородком в сторону долгушинского дома, прицеливаясь объективом. – Чуть-чуть в сторону. – Показала рукой, куда мне передвигаться.

Я нехотя, но с тайным удовольствием повиновался – девушка была красивая и с другой планеты. И в странном предчувствии недостижимости женщины-идеала ворохнулась душа.

– Не слышу ответа? – сказала она, быстро перезаряжая и с плавным шорохом выстреливая затвором фотокамеры.

– Нет... это не наш дом, – невнятно ответил я, с трудом подавляя желание прихвастнуть, не решаясь в то же время и признаться, что живу по соседству в горбатой, с переломившейся крышей халупе, с нищенски промазанными глиной стенами, отъехавшим в сторону, хромо просевшим на подгнивших пеньках крылечком.

– Жаль... – догадливо посмотрела девушка на меня и на наш дом, – такой милый мальчик с есенинскими глазами должен непременно жить в этом сказочном тереме... – Ткнула указательным пальчиком в сторону долгушинской хоромы. – Дом, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный... Нет, Бунина так переиначивать нельзя! – сделала она наигранно-строгое лицо. – Хотя в этом что-то есть, надо запомнить, как подпись к снимку... А ты читал Бунина? – шагнула она к долгушинскому дому с фотоаппаратом навскидку, взъерошив рукой по ходу мне волосы.

Прикосновение ее руки было счастьем, но я диковатым стригунком увернулся.

– Бунина ты не читал, что объяснимо – его с базара народ еще не понес... По-бунински ты впечатлителен, эмоционален и застенчив, как герой «Митиной любви», – говорила она быстро и малопонятно мне, делая с близкого расстояния снимки пышных, фигурных наличников и фронтона с кружевными подзорами долгушинского дома. – Ты местный, родился и вырос здесь? – спросила как бы между прочим, скороговоркой. На мой утвердительный ответ на мгновение задумалась: – Рядом с такой красотой Бунина можно знать, не читая...

Договорить ей не дали. Из машины капризно и нестройно позвали: «Ева!» Теперь я знал ее имя, звучащее как-то особенно выпукло и восхищающее в оторванности от привычного, слитного для уха «Адам и Ева». Теплое и ласковое, вневременное, оно оставило первую «библейскую» зарубку на сердце...

Серьезную работу он, как всякий серьезный мастер, предпочитал делать в одиночестве и без отвлечений. Баба Оля тоже слушалась своего деда и внешне безропотно, но с протестной порывистостью одергивая неизменную зимой и летом старорежимную атласную душегрейку, маленькая и круглая, уточкой утекала в дом.

Девушка заторопилась, спросила, как зовут меня с фамилией и как называется наша деревня. Пообещала прислать фотографии к осени.

Удивительно, но я каждую осень вспоминаю об этом и чего-то жду. Особенно когда, оставаясь в деревне до холодов, в ясные сентябрьские деньки, перечитываю, пригревшись на солнце, за столиком в саду под шорох листопада Бунина. В который раз: «Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный...» И слышу: «Дом, точно терем расписной...»

...В последних числах мая, управившись с огородом, Долгушин-дед отправлялся в Москву, где у него жили сын Петр и дочь Павлина. Отсутствовал он обычно где-то с неделю. А затем появлялся многотрудным странником, горбато и разлаписто увешанный сумками и котомками на перевязи. Отмерив пятнадцать верст по полевым дорогам от села Андреевское, куда уже ходил рейсовый автобус из города, взбираясь тяжело нагруженным, усталым в горку от реки к своему дому, он, если случалось встретить нас, деревенскую детвору, находил силы сбросить одну из котомок с плеча, распустить ей горло и, покопавшись в матерчатой утробе среди кульков и мешочков, одарить каждого с неизмен-

ной улыбкой – «на доброе здоровьице, вьюнош (или вьюница)!» – московским гостинчиком. Обычно это были сушки или ванильные сухарики с маком. Редкое для нас, деревенских, лакомство. Помню их по сей день на вкус и запах. Отдавали они слегка масляной краской и свежим хвойным духом скипидара. «С чем понесешься, того и наберешься», – шутила в таких случаях мать, когда я показывал ей гостинцы Долгушина-деда.

На следующий день купленная в Москве краска десятком разнокалиберных банок с промасленными, трудно читаемыми этикетками выставлялась на брошенную перед домом широкую доску. Доска цветисто рябила многолетними пробными мазками краски. Приносились кисти в ведре – тупомордые и круглые, как пушечные банники; густые и лопатой, как боярские бороды; тонкие и каплевидные, как стрелы. Кисти со следами заскорузлой прошлогодней краски старательно отмачивались и промывались в скипидаре. Все делал Долгушин-дед с распевами-мурлыканьем в бородку, в такт, ловко и споро: подтаскивал со двора лестницу в старых, высушенных брызгах краски, как в птичьем помете, вставлял для прочности в отрытые ямки в земле, заводил подрагивающей вертикалью на фронтоном. Наконец, топориком, мягко поддевая лезвием края, вскрывал крышки на банках с краской, отбирал нужную по цвету, перемешивал лучинкой с добавлением того же скипидара. Затем Долгушин-дед, облачившись масонисто в кожаный фартук, с кистью в руке и прижатой банкой к груди, начинал, как бывалый мастер по росписи храма, осторожно взбираться по лестнице под самый конек – «купол» дома, где ждали обновления полинявшие от дождей и снегов «деревянные фрески».

– Ты там по-тихонькому, по-тихонькому... не брыкай, без рысачества, – крестила снизу Долгушина-деда его жена – Ольга Васильевна, баба Оля, задирая вслед за восхождением мужа вверх по лестнице бледнеющее от напряжения, теряющее румянец лицо с разгорающимися синевой в цвет с небом глазами.

Дед слушался свою бабку, замедлял движение, осмотрительнее ставил ноги на перекладины лестницы, чутко замирал на полусогнутых, сливаясь с ее опасной, вибрирующей дрожью. Но, поднявшись наверх, изловчившись в устойчивой позе, делая первый мазок, уже сердитым голосом приказывал жене заняться чем-то своим. Серьезную работу он, как всякий серьезный мастер, предпочитал делать в одиночестве и без отвлечений. Баба Оля тоже слушалась своего деда и внешне безропотно, но

с протестной порывистостью одергивая неизменную зимой и летом старорежимную атласную душегрейку, маленькая и круглая, уточкой утекала в дом. Чтобы оттуда, шелкой приоткрыв окно, продолжать присматривать за дедом. Дед замечал уловку жены, посмеиваясь, прибавлял в голосе с распевами, проворнее шуршал кисточкой по сухим доскам фронтона. И так доска за доской, полоска за полоской, завиток за завитком на наличниках и подзорах разными красками, с подбором цвета «в лад», с частым «рассудительным» оглядом снизу, с земли, – пока за два-три дня дом не превращался в «терем расписной».

Баба Оля называла меня крестничком, при встрече любила потискать, приласкать, расцеловать в щеки, заглядывая смешливо в глаза: «Ну, держитесь, девки, скоро подрасту!» Уводила в дом, где снимала с полки над кухонным столом скрипучий, крупного лыка туесок с лесными орешками, насыпала стаканчик-другой мне в кармашек. Орешки были каленые, ядрышки чистые, упористые, с послевкусием тонким и долгим... Старушка, я это всем сердцем чувствовал, меня любила, нежила. Чувства ее были объяснимы – она принимала меня на свет. В середине апреля, когда я родился, наши ручьи и речушки так разлились, разыгрались, что вести мою матушку куда-то в роддом, в Андреевское, где была участковая больница, или в город, увы, не представлялось возможным. Баба Оля толк в повивальном деле знала, и пока поспешал рано утром из Покрова фельдшер принимать роды у председательши, все уже сделала. И судя по всему – вот сижу сейчас пишу, вспоминаю, – очень неплохо. Она даже успела взвесить меня на каком-то старинном безмене. «Под двенадцать фунтов потянул, большой! – рассказывала мне потом не раз мать. И всегда добавляла: – Крупный родился... И как хорошо все получилось, я и не чаяла... легкая рука была у тети Оли – царствие ей небесное! Фельдшер потом все дивился – какие бабки бывают, не училась нигде, а управлялась не хуже акушерки какой».

И совсем прерывистые, но яркие в деталях по сию пору фитильки памяти откуда-то из самого раннего детства. Прыгающий красный свет керосиновой лампы на столе, черные, горами ходящие по стенам тени людей. Возбужденный отец, ладный, еще тонкий в талии, контурно обложенной высоким поясом армейских галифе, в светлой рубашке с темными пятнами пота под мышками, нервно отбрасывающий пятерней волосы назад. На широкой скамье вдоль передней стены за столом у огня, закрыв лицо руками, рыдает мать. «Не три, только не три глаза!» –

отнимает руки матери от лица отец. Лицо матери в ссадинах и мелких порезах. Слезы текут по щекам, смешиваясь с кровью. Не помню, как появилась баба Оля, в чем была одета... Полутьма, скученность, неясные лица, возбужденная речь: «Ударил, стекла вдребезги, прямо Лизе в глаза!» Запомнил, как баба Оля близко под села к матери, сжала ладонями ее лицо, припала ртом к слезящимся глазам. «Есть! – оторвалась, снимая пальцами что-то с кончика трепещущего, странно заострившегося языка. – Ну-ка, еще разок, потерпи, барынька моя, потерпи, красавица ты наша». Станный поцелуй в глаза повторяется. Вижу, как язык бабы Оли забирается куда-то под веко у матери, бугристо шарит там, присасывается к чему-то, так, что увеличивается, выкатывается из орбит в набухших, кровяных жилках глазное яблоко. «Еще достала, кажется, – сплевывает на этот раз что-то в носовой платок баба Оля, рассматривает внимательно на свету. – Разве увидишь... – И к матери: – Ну-ка, поморгай глазками, не царапает?» Мать плотно зажмуривает глаза, разлепляет осторожно, потом часто-часто хлопает ресницами: «Облегчение-то какое, моргаю, не слышно...» Подобие улыбки трогает ее готовое скривиться в плаче лицо. Плакать начинаю я и бросаюсь к матери на шею...

Я потом спрашивал у нее, что это было. Вот что она рассказывала: «На Покров собрались на вечерку у Сергеевых, в складчину... тогда люди дружно жили. Каким-то боком в компанию затесался этот бандит из Паткина – Лешка Тимофеев, говорили, сидел... у него родня была в Четверти. Весь вечер, замечаю, на отца косо так поглядывает, злится, чувствую, заводится, из себя весь... Как потом выяснилось, брат его, пастух паткинский, отраву сделал наших озимых, ну, отец на него в суд. Вот этот-то, тюремный, за брата на отца и затаился. Так-то просто полезть в дом не решился. Наш-то бы ему наваял, поматерее был, фронт прошел... Ну, тот сидел-сидел, наливался злобой всё и на выпивку налегал. Потом хлопнул дверью, так что с потолка посыпалось, на улицу выскочил. Слышу, угрожает, ругается нехорошо так... Чую, пакость какую-то задумал. Мы с отцом у окна сидели, спинами... Говорю, давай пересядем! Страх какой-то нашел... И обернулась я тут как на грех. А он как раз и шаркнул с той стороны... Снял ремень и пряжкой со всей силы... Зимних рам еще не было... Стекла, как из ружья, по мне. Схватила за лицо, слышу, кровь потекла, и в глазах, как будто песком сыпанули... Отец выскочил на улицу, скрутил его, связал этим же ремнем, за участковым в Покров послали. А меня домой повели, иду – режь в глазах,

слезы ручьем, ничего не вижу... ну, думаю, ослепла... По дороге вспомнил кто-то, что тетя Оля Долгушина умеет как-то языком соринки опасные из глаз доставать. Вот она меня и спасла. А так бы окривела, точно... Что там фельдшер сделал бы, стекла-то попали с пылинку. Их только специальным прибором достать можно было. А вот тетя Оля умела... старые люди много чего умели».

Хорошо было забежать зимой продрогшим с мороза к бабе Оле. В доме, всегда нагретом, дремотно разморенном под степенный шаг маятника напольных часов, с ровным теплом от печки, обложенной изразцами, в неге расправившейся во весь рост кошкой на лежанке, рябью лоскутных дорожек на крашеном полу, жирнолистным, раздобревшим фикусом в простенке – верхом блаженства было приложиться заочеченными ладонями к жарким изразцам, оттаивать, млеть, разгадывать тайну их синих загадочных птиц и диковинных заморских растений на белом глазурном поле. После нашей, всегда холодной, с вечно дымящей печью избы – здесь был рай. Позже я узнал, что Долгушин-дед был большим мастером печных дел. Половина окраинной Москвы в тридцатые и сороковые годы грелась у сложенных им печек. И сдаётся мне, что были они не хуже его деревенской.

Когда дом наполнялся голубым газом морозного зимнего вечера, ярче, казалось, начинали разгораться, наливаясь огненным вишневым светом, рубиновые лампадки перед иконами. Золотом вспыхивали и загорались в какой-то момент иконы. Тихим, янтарным сиянием заливалось пространство. Сказка была вокруг. И я не хотел уходить. Пока баба Оля не уводила меня за руку домой.

Иконами были увешаны все стены долгушинского дома. Меня всегда поражало их число и разнообразие. Каким-то недетским чутьем я улавливал, что их не случайно как-то очень много, через край. Это, видимо, шло от невольного сравнения с тем, что видел в других домах нашей деревни. Иконы были у многих, стояли невысоким рядом с букетиком высохших полевых цветов, две-три – не больше, на божницах, в кухнях над столом. Старшее поколение еще молилось на них перед обедом. У Долгушина-деда иконы были везде и самые разные – огромные на полстены и небольшие, в ризах и просто ничем не украшенные, свежие, яркие и совсем какие-то темные, потускневшие. Однажды, после очередного похода к бабе Оле, я поделился своими наблюдениями с матерью. «Это Григорий Александрыч нанес их со всей округи, когда разоряли церкви... из Долгополя, Ковырева, Тютюкова. Тетя Оля сказывала, даже

из Шимохтинской церкви за пятнадцать верст перенес все образа на себе, – поведала мне мать. – Видел у них Богородицу, как входишь в переднюю, с правой стороны? Это уже из нашей, Покровской церкви... красивая и ласковая такая икона – “Богородица Умиление” называется... Богоматерь любит своего сыночка Иисуса, – быстро добавляла она почти шепотом, – умиляется и скорбит, на какие муки он себя за все грехи наши обрекает, так мне тетя Оля поясняла... Икона была главной в нашей церкви, у нас же церковь Покрова Пресвятой Богородицы называлась, этот вот ее образ и стоял на самом видном месте в нашей церкви. Всех она оберегала... Спаси и сохрани нас, Царица небесная, пресвятая Богородица! – крестилась мать. – Когда льнозавод в церкви городили, иконы все повыбрасывали на улицу, в снег... Так и пропали бы, а Григорий Александрыч собрал их, домой перенес. Сама видела, как он Богородицу на закорках доставлял. Икона-то уж очень большая, тяжелая, неразворотливая – поди, пуда два весом, не меньше... Так он ее веревками обвязал, на спину взгромоздил, согнулся в три погибели и пошел чуть не на коленках. А у него, я знаю, грыжа, в бандеже ходит... Как он ее донес, ума не приложу! А снегу, я тогда помню, по пояс выпало... дорога еще не натеренная была, а он эдакую тяжесть на себе, да по целику... Но правильно говорят, с верой все управить можно!» – приговаривала она.

Баба Оля умерла, когда я учился во втором классе, зимой, где-то сразу после новогодних каникул. Хоронили ее сереньким январским днем, плотно укутанным по горизонту темно-синими снеговыми тучами, с поземкой, лохматившей мелкие веточки на еловом лапнике, высланном зеленой дорожкой перед крыльцом долгушинского дома. Было не холодно, без мороза, но зябко, с пробирающим до озноба ветерком. И еще лихорадило, что сейчас вынесут покойника... Покойников я еще никогда до этого не видел. Что это будет баба Оля, в голове как-то не увязывалось и не думалось. Покойник, вот что страшно, вот что волновало... покойники встают из могил, являются в полночь, хотят увести за собой живых! Сколько об этом рассказывалось страшных историй в полутемной избе с подкрученным фитилем керосиновой лампы приходящими подомовничать старушками, когда мать с отцом уезжали с вечера под базарный день в город торговать свежим мясом на рынке. Лежишь, обмирая, на печке, слушаешь какую-нибудь древнюю бабку Секлетей, мостящую себе из старых полушубков и фуфаяк постель на широкой лавке под передними окнами, ее сонный голос с позевываниями откуда-то, из си-

Покойник, вот что страшно, вот что волновало... покойники встают из могил, являются в полночь, хотят увести за собой живых! Сколько об этом рассказывалось страшных историй в полутемной избе с подкрученным фитилем керосиновой лампы приходящими подомовничать старушками, когда мать с отцом уезжали с вечера под базарный день в город торговать свежим мясом на рынке.

лящегося не померкнуть красного светового круга внизу у стола: «Поначалу на потолке все шумел, топал, страху нагонял... Потом по лестнице в сени проскрипел, стукнул в косяки, все запоры враз отвалились. Входит бледнее бледного – за тобой, жена, пришел, тяжело мне там одному, собирайся... Да на кого же я детей малых оставлю, сиротинушек! Это она так говорит для отводу глаз, а сама к иконам поближе за святой водой. Хвать пузырек – и ну его брызгать да крестными знаменьями обкладывать. Еще пуще побледнел, могильной зеленью весь покрылся, глаза, как у волка, огнем так и пыхнули. А, говорит, со святым крестом да святой водой не возьмешь тебя. И к печке поближе – погреться, мол, хочу, холодно мне что-то всегда. Перед шестком в прах рассыпался и в трубу огненным шаром вылетел». Лежишь, слушаешь, немеешь от страха и ужаса, и то ли сердце гулко так стучит, то ли впрямь кто-то ножищами бухает на чердаке... Поэтому, ко-

гда вынесли на крыльцо небольшой, из белых тесин гробик, обитый полоской посеребренной ткани с кистями, и стали прилаживать в покрытые чистой попоной сани, я не сразу признал в нем бабу Олю. Цвета топленого масла маленькое, усохшее личико с остреньким носиком, с белой ленточкой, испещренной черными письменами на лбу, – это была не знакомая, добрая, всегда улыбающаяся и румяная баба Оля, а покойник, какое-то новое, не встречаемое ранее, загадочно-пугающее явление в жизни. А когда священник в длинном золотистом одеянии с крестом на выпирающем животе звякнул цепочкой дышащего конфетным дымом кадила и растраченным с возрастом, убывающим баском пропел: «Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы твоей Ольги», люди, не скрывая любопытства, прихлынули к крыльцу: «Тютюковского попа привезли... совсем старый стал!», оттеснив меня в сторону, так что рассмотреть что-то еще повнимательнее мне уже не удалось... Вынесли крышку гроба, большой и широкий деревянный крест, уложили на ребро в сани. Колхозный конюх дядя Федя Бушуев, перекрестившись, сунул руки в самодельные овчинные рукавицы, легонько подергал брезентовыми вожжами: «Но, милая!» Застоявшаяся лошадь, наклонив голову, без усилий тронула сани с гробом, мягко и ходко пошла по наметенным грядкам свежего, еще не успевшего окрепнуть снега. Дядя Федя поспешал рядом с санями, правил по пробитой бульдозером дороге в сугробах, не давая разойтись лошади под уклон к реке. За Богоной на восточном склоне Поповой горы, продолжая скудный рядок утопающих в снегах оградок с верхушками крестов, рыжела глиной на белом, сиротливом просторе свежевыврытая могила. Там было новое кладбище, выделенное совсем недавно, когда старое у церкви после льнозавода сровняли тяжелой техникой с землей. К нему и задвигалась медленно в гору, вязко перемешивая валенками рыхлый, сыпучий снег, негустая толпа деревенских людей, всех, кто так или иначе был близок к покойнице, – вместе росли, дружили, жизнь прожили – десятка два толсто одетых, закутанных в шали старушек; родственники покойной, среди которых выделялся ростом и отеком сытостью щек сын Петр – «инженер в Москве», рядом в лисьей шубе до пят перегрето румянилась, вылитая баба Оля, дочь Павлина – «замужем за начальником большим... страсть как богатая». Особняком за гробом шел Долгушин-дед с непокрытой, опущенной головой, изредка вскидывал взгляд на покойницу, плакал, утирая слезы зажатой в руке варежкой. Старенького священника, совсем обессилевшего в гору, то и дело

наступавшего разношерстными, неповоротливыми валенками на длинные полы ризы, вели под руки два рослых деревенских мужика – Марк Солдатов и Петр Сергеев. Они копали могилу, им ее предстояло и засыпать. «А поп-то еле ноги тащит, – внимательно все выглядывали с хвоста процессии деревенские бабы, – да ему, поди, под восемьдесят, будешь тут таскать... Из заключения, сказывают, только как лет семь вернулся... Тютковскую церковь недавно совсем сломали... А поп-то служит, когда попросят, говорят, даже крестит и соборует, купель сохранил и все обряжение... Все по православному у него – это точно... хороший батюшка, не то что ездит тут один по деревням из-под Кольчугина, ложный поп, говорят, перебежчик какой-то, обновленный, крещает в кадках... А тютковский настоящий, все по старым законам делает, усердный очень... Как бы снова не посадили, за религию-то вон как нынче взялись... Чай, не тронут, он, того гляди, сам помрет...»

После поминок, уже в сумерках, старого священника, слегка под хмельком, порозовевшего и благостно улыбающегося, усадили в тулупе спиной к передку в те же сани, на которых увозили в последний путь бабу Олю, на ту же попону, ее свободными концами дядя Федя Бушуев старательно укутал по бокам и сзади тютковского батюшку. К вечеру ветер окреп и разгулялся уже с морозцем, хватал знойной стынью за лицо, шуршал обдирно по крышам и стенам домов. Разгулялись по морозцу и мы, дети, разрезвились на желтых световых полянах под окнами долгушинского терема. Сколько догонялок, кувирканий и возни в искристом газе снежной пыли по сугробам! И, когда сани со священником тронулись, скрипнув уже по-зимнему подрезами, мы, как стая разыгравшихся волчат, взяли в бессознательном порыве дровни в полукруг: «Поп, поп – толоконный лоб!» – крикнул кто-то, и все в пьянящем единодушии подхватили. Возница, правя на коленях на охалке клевера в передке саней, выхватил откуда-то длинный прут: «Вот я вас, бесенята! А ну, кыш!» «Ну, какие же они бесенята, – отвернув ворот тулупа, обернулся на дядю Федю священник, – это же детки, расшалившиеся ангелочки. Вы только посмотрите, сколько радости и счастья на их румяных, восторженных личиках!» «Почтенья не знают никакого к старшим, батюшка, настоящие озорники эти ангелочки. Вот я бы их...» – не соглашался дядя Федя, пряча хлыст и заставляя пощелкиванием вожжей перейти лошадь с шага на крупную рысь. Но мы не отставали, гримасничая и кривляясь, бежали за санями, задыхаясь в дурном скоморошничестве, до самой околицы: «Поп, поп – толоконный лоб!» Ста-

рый священник только смеялся, часто снимая перчатку серой овечьей шерсти, широко крестил нас голой рукой, с нарочитой басовитостью, словно подыгрывая нам, возвышал голос: «Храни вас, Господь, мои резвые шалунишки! Пусть чаще и дольше поет в вас душа! С Богом, милые детки, с Богом!»

В ту зиму не было дня, чтобы Долгушин-дед не побывал на могиле жены. «К тете Оле пошел, – односложно говорила мать, высматривая сквозь закраины наледи промерзшего окна торопливую фигуру Григория Александровича, пересекавшего в узком месте речку и по новой торившего переметенную за ночь дорожку на Попову гору. И добавляла с сочувствием: – Тоскует, видать, сильно». Иногда дед отправлялся на кладбище с деревянной лопатой и вязанкой зеленого лапника, за которым ходил в еловую рощу километра за два от деревни. «Ухаживает за могилкой, – комментировала мать, – снег чистит, хвоей для опрятности обкладывает». А вскоре по вечерам стал замечаем на Поповой горе странный, таинственный огонек. Он появлялся в сумерки, в тихую погоду ровно разгорался желто-красным язычком пламени, в метель, прерывисто смаргивая, казалось, блуждал по кладбищенскому склону горы. В деревне заговорили о душах умерших и еще бог знает о чем. Но все очень скоро разъяснилось. Оказалось, что это Долгушин-дед возжигает на могиле жены неугасимую лампаду. «По-нынешнему, чудно, конечно... – говорила, покачивая головой, мать, – но в старину, слыхала, всегда так делали». И страшно, и отраднo было смотреть на этот огонек. Сколько всего напридумываешь и перечувствуешь, когда стоишь одиноко и немо в сумерках у окна без света и с накатившим вдруг беспричинно отчаянием, сиротской затерянностью в ледяных пространствах всматриваешься в мерцающий, живой огонек в снегах за речкой, в густой, холодной мгле... на кладбище. Кому и для чего он светит там? Там мертвые, покойники... Зачем свет там, где жизни нет? Жутко и нехорошо от этих мыслей... Но когда деревня засыпала, погружалась в бесконечную зимнюю ночь, беззвучную и безлюдную, по-звериному тревожную, огонек на Поповой горе среди голой, стылой равнины начинал светить уже тепло и приветливо, снимал беспокойство и страх... Там, где огонь, – там земля человека живого. Отмеченная огненным знаком освоенная им территория. Пространства сжимаются, и не так одиноко и бесприютно на них. Что-то подобное ощущали, наверное, наши далекие пращуры, в шкурах гревшиеся холодными, пустынными ночами у костра... И все это живет, движется, пульсирует в тебе. И замирает, и трепещет душа.

Из поездов в город на совещания отец возвращался обычно с новой книгой. «Другие с апельсинами, а этот... хоть бы раз о детях подумал!» – раздражалась в таких случаях мать. Отец, конечно же, думал о нас, но, как говорится, по-своему. У меня до сих пор хранятся подаренные им «Остров сокровищ» и «Белый клык», которые в детстве приносили столько радости и счастья, что куда там было каким-то апельсинам. Отец всегда сам читал много и с наслаждением. С раннего детства помню его в свободные минуты всегда с книжкой. Он и нас с братом, что называется, с младых ногтей, начал приучать к книголюбию. Мы все читали, а дом был неустроен, печь дымила, сырые дрова разгорались в печке медленно и тяжело, под причитания матери: «В избе хоть волков морозь. А ему и дела нет!» Дым по утрам по-хозяйски занимал все пространство кухни, широко разваливался сизыми клубами по столу и лавкам, утягивался в настесь распахнутую в сени дверь с ленцой и неохотно...

И вот как-то отец появился с очередной новинкой в руках. Мы с братом кинулись рассматривать книжку: «Библия для верующих и неверующих». Библия? В «Острове сокровищ», провернулось в сознании, взбунтовавшиеся пираты вручают своему главарю, одноногому Сильверу, черную метку – «низложен» – на страничке, вырванной из Библии. «Гореть тебе в аду за осквернение святой книги», – говорит Сильвер пирату, подавшему бумагу. Что-то уже тогда шевельнулось и легло на душу: Библия – особенная книга, «святая», она для тех, кто верит в Бога... «Библия...» – читаю я на обложке привезенной отцом книги и с недоумением смотрю на него. «Это другая Библия, – усмешливо отвечает на мой немой вопрос отец и отбирает у нас с братом книгу, – вам еще рановато это... А вот кой-кому показать ее, может, и стоит». Глаза его суживаются, начинают поигрывать улыбкой и лукавством. Я знаю эту лукавинку за отцом, обычно она появляется у него, когда он хочет подковырнуть кого-то, подшутить...

Утром, уходя на работу, отец почему-то подмигнул нам с братом, собиравшимся в школу, и сунул новую книжку за отворот тужурки.

А вечером, за ужином, к нам прибежал, словно ужаленный, решительный и вздернутый Долгушин-дед. В распахнутой фуфайке на одну фланелевую рубашку, в криво, второпях надетой заячьей шапочке на голове, с распушившейся на морозе бородой, с отцовской книжкой в руках, возник в клубах пара у порога разгневанным громовержцем на облаках.

- Грех смеяться над старым человеком, Владимир Васильич! – нервно подтрусил он к столу и с чувством припечатал книжкой по столешнице.
- Что с вами, Григорий Александрович, что стряслось?! – привстал отец из-за стола и притушил разыгравшуюся было веселость в глазах. – Присядьте, может, отужинаете с нами? Или чайку вот... – машинально притронулся он к крышке чайника.
- Негоже так, Владимир Васильич, негоже, – сурово огляделся по сторонам старик, стаскивая шапку с головы.
- Да вы присаживайтесь, присаживайтесь... поговорим, разберемся! Лиза, сесть бы гостю... – Мать, подхватившись от печки, придвинула гостю табуретку. – Так, что «негоже»? – все же не удержался, улыбнулся отец.
- Вы сказали утром, что выпустили Библию... и показали вот это, – присев, кивнул в сторону книжки Долгушин-дед, – я слепу взял, не разобрался...
- И что же? – продолжал улыбаться отец.
- А то, что ты, Владимир Васильич, решил подсмеяться надо мной! Вот и снова смеешься! – гневно перешел на ты Долгушин-дед. – Никакая это не Библия, а срам один... на Бога хула возводится, Богородицы светлый образ порочится! Меня понудил читать непристойности! Аль не понимаешь, кому служить вызвался?! – Отец согнал улыбку с лица, Долгушин-дед осекся: – Извини, Владимир Васильич, ты в партии, не мое это дело, кому служишь... Только зачем старых людей обижать – нехорошо это, не по-человечески, – снова повторил он, дергано вглядываясь в отца. – У вас своя вера, у нас своя... у вас, знамо, власть... только вот обижать зазря людей не надо. – И после короткой паузы, овладевая собой, вдруг неожиданно сказал: – Мне говорили, на войне все молились Богу – и верующие, и неверующие – когда смерть ходила рядом... Вот ты воевал... ответь, правду люди говорят?

Отец оценивающе посмотрел на гостя, потом, что-то прикидывая, на нас с братом, притихших на лавке за столом... Мне показалось, отец сейчас всплывет, скажет что-то жесткое и резкое, как умеет он делать, когда с чем-то решительно не согласен. Но он сказал неожиданно то, что как-то странно боднуло меня, отозвалось в сознании толчком правильного, одобрительного первочувства, затаенного согласия.

- Правду говорят... – кивнул отец.
- Вот так-то оно, – мягко, но с явным торжеством сказал Долгушин-дед, – и никакие богохульные книги тут ничего не сделают...

Отец промолчал, долго нахмуренно вертел книжку в руках, пуская веером страницы. Потом встал и сунул ее куда-то на самую верхнюю полку, где у матери хранились в холщовых мешочках сушеные грибы, ягоды, запасы сахара и круп.

Отец нахмурился и снова бросил быстрый взгляд в нашу с братом сторону.

- Ты за детей не бойся, – понимающе отозвался гость, – слово по совести, а не как надо сказанное, только во благо. Не слукавил ты, и у них только прибавится... – со значением обронил он.
- Если бы в этом только было дело – по совести, не по совести... – недовольно ответил отец, – в жизни все крученее получается, по полочкам – по совести, не по совести – не разложишь. Кому-то кажется – что-то по совести делается, кому-то – против этой совести... Неопределенно тут все...
- От нечистого все это, Владимир Васильич, от нечистого! – шлепнул шапкой по колену Долгушин-дед. – Все понимают и знают, что по совести, а что нет!

Отец усмехнулся, знакомая лукавинка засветилась в его глазах.

- Вот когда на правлении колхоза решили обрезать тебе землю по углы, все говорили, что это по совести будет, потому что ты, Григорий Александрыч Долгушин, принципиально никогда не вступал в колхоз, а значит, пользоваться колхозной землей не можешь. Хотя ты и твои предки этот несчастный приусадебный участок лет сто, наверное, обрабатывали... Какая тут совесть, ей тут и не пахнет, честно сказать.
- Решали по закону, как власти постановили, – насупился Долгушин-дед, – а по совести, не по совести – это про другое... Понимаешь все, а кру-

тишь, Владимир Васильич! – укоризненно взглянул он на отца.

- Понимаю, – без тени обиды и даже с каким-то удовольствием сказал отец, – но тогда по-твоему, Григорий Александрыч, получается, что распоряжения властей освобождают человека от совести... сделал по закону все, как предписано, и погуливай себе, посвистывай, ни о чем не думая, не сомневаясь, хорошо ты поступил или нет. Так, выходит?
- Выходит, может, и так... – с некоторым сомнением протянул Долгушин-дед и быстро нашелся: – Сказано – Богу богово, а кесарю кесарево.
- А вот когда кесарь приказывает уничтожать церкви и человек выполняет его приказания – ломает, взрывает... дома Бога, по мнению верующих, на земле крушит! Окаянное дело, как священники говорят, творит... Его, этого человека, можно оправдать, что он всего лишь выполнял распоряжения властей? Кесарю – кесарево... – усмехнулся отец, – и совесть может быть спокойна?
- Ах вот ты о чем, Владимир Васильич! – встрепетнулся Долгушин-дед, живо вглядываясь в отца. – Не вправе я ни судить, ни оправдывать этого человека. Одно знаю, что если внутри себя, даже только с самим собой, без исповеди, человек казнится, что сделал он что-то не то, нехорошее, то он уже исправляется с Божьей помощью... Это значит, что в нем та самая совесть и говорит. Это значит, Бог не оставил его и, может быть, если человек этого захочет, выведет его на правильную дорогу... Вот что я думаю по этому человеку, тут самое главное не дать себе окаянствоваться со вкусом, охолонуться как бы вовремя... – Долгушин-дед мазнул шапкой по лицу. – Ух, хоть и прохладно у тебя, а я что-то чуть ли не взмок... заговорился я что-то, не очень мы говорить... но, как говорится, сказал от чистого сердца... как уразумел тебя, так и сказал со всем расположением... потому что... – он запнулся, – потому что, вижу, совесть ты не растерял... живешь вон не ахти, бедновато даже... не ворует... до тебя-то тут многие были горазды поживиться за счет колхозных амбаров, – ухмыльнулся Долгушин-дед.
- А как еще по-другому, – пожал плечами отец. Хотя чувствовалось, что ему были приятны слова гостя. – Вот льнозавод запустили, глядишь, копейка лишняя в колхозе заведется. Живых денег людям подбросим... – почему-то вопросительно посмотрел он на Долгушина-деда.
- Я уже сказал тебе, Владимир Васильич... как сделал ты, так и сделал, – снова макнул шапкой

лицо Долгушин-дед, – и что тут рассусоливать теперь... церкву погубили, но так властям было надобно... и плетью обуха... как говорят... Может, кому-то на время это даже и прибавит в кармане, лукавый, он хитро все оборачивать умеет. Но только на время, дело его непрочное... все равно рассыплется, и все заново строить придется. Это как печку класть не из шамотного, а, скажем, силикатного кирпича... не выдержит огня, обвалится. – И он машинально оглянулся на нашу печь в углу. – Вот эту ложили как раз из силикатного, когда готовили избу под твой приезд с семьей. Сгношили из того, что было под рукой... Вот она, похоже, и посыпалась в коленях, отсюда и дымит... Дымит, слышу, по утрам, Лизавета Федоровна? – заулыбался он в сторону матери.

- По-черному топим, каждое утро двери настечь! – горячливо отозвалась мать.
- Дело поправимое, – спорхнул с табуретки Долгушин-дед, подошел к печке и подергал задвижки, – вижу, клинит... кирпич силикатный, от нагрева крошится... почистим коленца, вставки сделаем шамотным, у меня запасец есть – она и тяга пойдет... И ругаться больше не будешь, Лизавета Федоровна. Уж больно страсть, как ты ругаешься по утрам!
- А как тут, если... – начала было мать.
- Вот и я говорю, Владимир Васильич, – деликатно подрезал ее Долгушин-дед, чиркая спичкой и осматривая дымоход, – о людях, конечно, надо думать, и ты тут правильно все делаешь... вон как деревня расстроилась, леса, слышал, для колхозников не жалеешь... Но и о себе забывать не след, тем более вон по хозяйке вижу, прибавления ждешь... Дочку, наверное, задумали?

Отец выдал на лице подобие улыбки и развел руками.

- И как тут с малым ребенком в холодной избе, – бросил, обжигаясь, горелую спичку на шесток Долгушин-дед, – давай вот что сделаем, Владимир Васильич, все, что можно, я поправлю завтра... А летом я тебе новую печь сложу – горячую, с веселым голоском... ребятишки зимой будут босиком бегать по дому. Ты только кирпича правильного запаси, а какого – я тебе потом скажу.

Отец, как мне показалось, с неохотой, как-то вынужденно, с оговоркой, что достанет кирпич за собственный счет и за работу заплатит сам, принял предложение. На том и разошлись.

- Что, съел? Ты к нему – язвой, а он к тебе – ясным! – сказала мать, рывками задвигая поглубже заслонки в трубе, когда Долгушин-дед ушел.

Отец промолчал, долго нахмуренно вертел книгу в руках, пуская веером страницы. Потом встал и сунул ее куда-то на самую верхнюю полку, где у матери хранились в холщовых мешочках сушеные грибы, ягоды, запасы сахара и круп.

Через много лет я заинтересовался, что стало потом с той книгой – «Библией для верующих и неверующих». Куда-то она однажды исчезла с полки, пропала, как сквозь землю провалилась, хотя еще долго лежала там после того памятного вечера. Я всегда на ощупь наталкивался на нее, когда, подставив табуретку, шарил, грешный, встав на цыпочки, по сухо похрустывающим горкам с мешочками в поисках того, где хранилась вожаделенная сушеная малина. Иногда я брал ее, запыленную, с копотью и паутинками на обрезе, в руки. Но читать не решался. Она была как бы отвержена отцом, а значит, неправильная. И снова клал ее на место. «Куда же она пропала?» – поинтересовался я у матери, перебирая после смерти отца собранные им книги.

- Так он сжег ее, – вспомнила мать, – как-то утром... бросил в печь, и все... Когда это было? Да в тот год, когда я Таню, как по заказу, родила, после двух парней-то... – стала уточнять она. – Таня в мае родилась, а книжку он спалил где-то в сентябре, помню, картошку копали... И в новой печке уже, которую летом тогда сложил нам сосед Григорий Александрыч... царство ему небесное! Уж до чего мастер был, такую печь устроил – сырая березка, как порох, разгоралась... во тяга была! Радость-то какая для меня! Уж больно я со старой намучилась...

